

ДВА ШЕСТЬДЕСЯТ СЕМЬ

— И погулял, и... — кивок головы, как оглядка на прошедшее, где совершил много половых актов и жил как хотел, вволю наслаждаясь бытием. Всего набралось чересчур, и ныне существование опостытело — пресыщен. Правда, слегка, думается, грустно, что куда-то подевались бодрость и жизнерадостность.

Пальцы двумя фаллусами сдавили обмылок папиросы. Добр — да. Зол — да. Умен — да. Дурак — да. Как же? Что он? Человек. Организм. Внутри гонятся друг за другом какие-то (я еще повторю подобные прилагательные) кровяные тельца, функционируют кроветворные органы, формируется кал.

— Сам знаю, — о чем-то он, предоставляя возможность вживить пару слов в состав прозы, тем самым создав определенную сонность происходящего, признанием же в том, что автор, протаранить брешь в литературной конструкции, убедить, что читаемое происходит...

Сидор наполняет наши стаканы. Вермут. Два шестьдесят семь. Почему не пишут на емкостях: "Головная боль", "Рвота", "Рак желудка"?

— Первое — ему необходимо вывести себя из-под воздействия алкоголя и никотина. Диета. Бег. Второе — поправить ноги. Сель и плоскостопие. Для устранения боли и, может быть, сглаживания деформации колен, — думаю, стельки и максимум движения босиком на песке и, само собой, в зале. Отложения в суставах — это, конечно, к специалисту, хотя здоровая жизнь тела и духа, уверен, излечит и это.

Так рассуждаю о возрождении его, о спасении измаявшейся души.

А он?

Сидор ворочается, выпрямляется внезапно, блевает. И охает: "Господи!" После — матом. Я объясняю ему: он идиот, школьник, — они не в силах проследить последовательность деградации. В речи мелькают Мусоргский, Хемингуэй, Есенин.

— "И-и-и как пьяный сто-о-орож!" — взывает Сидор. И снова — рвота.

— Вот, убеждайся, — подчеркиваю сказанное, — какой

тебе требуется опыт, чтоб научиться мыслить? Инсульт? Инфаркт? Сдохнуть?

— Петя, — пытается что-то возразить. Но что? Что? Спит.

После двух-трех месяцев бега займется растяжками. По истечении полугода преподам ему йоговские упражнения. Дальше посмотрим.

Это — тело.

Для духовного развития ему прежде всего надо читать, но не Пикюля и Кюнан-Дойля, а, получив сжатую программу лучшего в мировой литературе, ее освоить.

Работу можно сохранить прежнюю. Можно, но удачней кажется подобрать должность сторожа, где сутки через трое, а чтобы не в ущерб бюджету семьи, выполнять минимальную халтуру, что реально во время дежурств. Однако при том, сколько-днет, какой прок от него жене и детям? Что он приносит? Когда исключит пьянки и курение, — вполне удовлетворится окладом бойца ВОВРа в солидной организации.

— Не надо, — голос.

— Чего?

— Песен.

— А я молчал.

— Что?

— Так ты же бормочешь о песнях.

— Приснилось.

Купол тела облаком на фоне аметистового неба, рифленость щек у глаз сокращается — он мигает, но не мне, а так, чтобы качественнее воспринимать видимый мир. Бабочки погон неуверенно ежатся к ушам. В подобной ситуации зарекаются ни капли в рот, никогда, что бы ни произошло, хорошее или дурное, кто бы ни помер и ни родился, сколько бы ни насчитали за месяц, какой покупки бы ни произвел — никогда. Но это, известно, пустое. Круг подобной жизни повторяется, если не прорван самим человеком, дабы очертить новый контур.

Какая-то птица за окном на каком-то дереве: это голубь приклеился к ветке березы, но так не хочется определять, за мерев от молчания и таинственности в вагоне-бытовке. За окнами, по-волейбольному разделенными решеткой, ветер трясет

листья, колошматя их друг о-другу; так человек разъединяет мятные лепешки в банке, желая освежить полость рта. За окном (как, уже?) — закат: лиловый ковер с лимонсцирующим красным кругом завесил нечто, на что не надо смотреть.

Чудится, я — ребенок. Да, мне лет десять, я в пионерском лагере, и хоть не дома, но мысли также приятно ограничены завтрашним (может быть) купанием, походом — с-ночевкой — на озаро, благополучной судьбой вороненка: накормлен и заснул. Сам я скоро побегу с-ребятами в-туалет, к умывальнику — брызги, хохот, а воспитательница, стоя у-корпуса, вон она, силуэтом, — держа в руке тетрадку с распорядком нашей жизни, командует: "Хватит! Ну, хватит. Спать!" — и улыбнется моей роже, которую скорчу, проходя, изображая глупого короля, из сказки, что разыгрывать утром на пионерском празднике.

Боже, почему я не умею довольствоваться Хилем и Лещенко, напиваться по выходным и в будни, имея свои деньги или в долг до получки, а то просто по дружбе на шермака, тянуть сорванным голосом: "Я ве-е-ерю в эту тишину-у-у...", курсировать по истечении недели в баню с веником и мальком. В "ди-пломате", разомлев от уюта — жена, покрная теща — отражать зрачками экран "Садко" или "Радуги", — приятно тревожась, — ведь у дома, на мостовой, наскочив на поребрик, — очередная, улучшенная модель "жигулей". Но это — если много воровать, потому как честно, безусловно, нельзя. Даже если с трехсот (!), то много ли отложишь, если примичная шапка не ниже-этой суммы, а ежели в комплект жене шубу — тут уж жутко представить — целая жизнь!

За что проклят, что не умею наваливаться на пузатых баб, тереться о них, как жряк о поленья, щипать и сипеть в напряженившееся ухо: "Давай"?

Почему предназначен мному, чем рвение к доходному месту, где можно "крутиться", затем "полняться", а в итоге "хорошо встать"?

Кто внушил мне отвращение к аппарату управления людьми? Нет сил заставить себя грозно покашливать, внушая слабейшему ужас, смотреть как зверь на и вне человека, внезапно и кстати для себя "резать правду".

И вот я иду. Пьян, но от этого еще более слаб и ничтожен. Завтра — день. Пять тридцать — подъем. Пол-седьмого выход из дома. С семи-тридцати до шестнадцати сорока двух — рабочий день. До восемнадцати эдак тридцати — семейные обязанности. В девятнадцать тридцати — дома. Телевизор. Дети. Жена. В двадцать два — спать.

Иногда я вижу тебя выцветшей, — высохшей, но той же легкой, с челкой лепечущих волос. И так контрастно это: какой-нибудь плащик, быстрые ноги и стянутое смолой старости — морщинами — лицо, что даже страшно. Во что же превращусь я? В того старика в спортивной куртке, с веками, затянутыми узлами отеков? Или в этого, который, ранее плотный, сейчас обвис, как зачехленный куст? Что это — рак?

Я так же в фургоне. По-прежнему против меня — полусвалившийся с топчана капитан нашего судна Сидор. Сокращенность фамилии — так же, как жизни: играл на трубе — было, завоевывал призы по гимнастике — было, руководил предприятием — было. Через несколько лет останется одно "С", позже, к старости, и оно сплывет, и звать его станут по имени, — и то уменьшительно, — набрасывая в уме что-то сморщенное, с сазисом плесени: "Васька"!

Он потерян Богом, но Бог ищет его и примет, найденного. А что я в сражении Сидора с самим собой? Может быть, это его путь к истине, единственный, и где-то за редущим уже лесом обрывками вспыхивающих изумрудом трав читается лужайка, и он направляется туда, чтобы опуститься со стоном облегчения и больше не вставать.

— У нас что-нибудь найдется? — он, взглядом пытаюсь оседлать пространство.

— Чего? — словно не понимаю.

— Ну, хоть на полстаканчика? — шепчет, надеясь.

oooooooooooo